

«Черный монах»: сто лет спустя

Александр ТРУНИН

*Смерть есть, бесспорно, тот основной факт,
из осмысления которого вырастает религия да,
вероятно, и вся культура: ибо только смерть
дает возможность отделить в мире явлений
непреходящее и вечное.*

Г.П.Федотов

В 1993 году знаменитому чеховскому рассказу исполнилось сто лет. Это не событие для общественности. Но кто-нибудь из читателей наверняка отметил для себя маленький юбилей с мыслью: неужто минул век... Так таинственно близок нам мир «Черного монаха», а широкие горизонты мысли, открытые в последнее время в России, позволяют видеть в нем все новые и новые смыслы и приближаться к его общей идее.

Рассказ Чехова «Черный монах» предельно реалистичен. В нем нет ни одной детали, ни одного выражения, которые нельзя было бы объяснить с точки зрения разума.

Сознание читателя следует за взглядом автора, но художественная сила образа мнимой (или иной) реальности такова, что вместе с Ковриным достаточно впечатлительный читатель не может не почувствовать присутствие в окружающем мире черного монаха, его притягательной и страшной сущности.

Казалось бы, все в рассказе ясно с самого начала. «Андрей Васильевич Коврин, магистр, утомился и расстроил себе нервы». Все последующие события проистекают из этого факта. Утомление переходит в болезнь. Несмотря на лечение, больной гибнет. В течение этого времени рушатся судьбы и сами жизни людей, оказавшихся рядом с Ковриным. Стало быть, Коврин, выбравший такой образ жизни и мышления, который вызывает болезнь, и виноват, а все остальные — чисто страдательная сторона.

Для Чехова, и как для врача и как для больного, здоровье действительно представляло собой абсолютную ценность. Но то, как в рассказе относятся к здоровью героя, вызывает у рассказчика явную иронию: «В девять часов утра на него надели пальто и шубу, окутали его шалью и повезли в карете к доктору». Эти неопределенно-личные обороты, подчеркивающие, что Коврина полностью лишили права на собственную волю, и уж совсем абсурдный пассаж с шалью по отношению к нервному больному символичны, и неудивительно, что здоровье — при таком к нему отношении — может показаться злом худшим, нежели сама болезнь. Лечение, которое применяется не против заболевания, а против больного, не могло быть оправданным. Это ведь в сущности очень смягченный вариант «Палаты № 6». Вылеченный Коврин говорит в запале: «Доктора и добрые родственники в конце концов сделают то, что человечество отупеет, посредственность будет считаться гением и цивилизация погибнет». Он неправ, но не абсолютно. Добрые родственники не против того, чтобы гений существовал, но им хочется, чтобы гениальность исчерпывалась только положительной своей стороной, как они ее понимают, что естественно. И тут дело самого человека, чувствующего в себе необычные способности, остаться самим собой. Коврин же полностью подчиняется их действиям, а потом, увидев, что вместе с болезнью ушла из него и творческая сила, бунтует, жалеет об утрате самой болезни и с окружающими становится невыносимо придирчивым, несправедливым и скучным.

Нервное переутомление Коврина, играющее центральную роль в сюжете рассказа, это, конечно, общественно значимый факт, о котором сам Чехов много думал и писал. Но не оно, однако, определяет основную мысль рассказа. Уж очень много общего у больного

Коврина с Песоцким, при всем при том, что их без особой натяжки можно представить и антиподами.

В отличие от Коврина, Песоцкий — человек, привязанный к земле. Для него психология, философия, которыми занимается его бывший воспитанник, слишком оторваны от текущей действительности, чтобы быть интересными. «И не прискучит?» — спрашивает он Коврина, который, в свою очередь, смотрит очень прохладно на занятия Песоцкого, отдавая, впрочем, должное его прекрасному саду. Песоцкий — замечательный деятель, которые нужны всегда и везде, а особенно в России, и тогда, в конце прошлого века, и сейчас, в конце этого, образцовый хозяин, каких было мало, а теперь почти и совсем не видно и на которых, собственно, вся наша современная надежда в смысле экономических и социальных перспектив. Не случайно его слова об успехе его дела («...весь секрет в любви, то есть в зорком хозяйском глазе, да в хозяйских руках, да в том чувстве, когда поедешь куда-нибудь в гости на часок, сидишь, а у самого сердце не на месте, сам не свой: боишься, как бы в саду чего не случилось») почти буквально совпадают с признаниями лучших отечественных деловых людей. И, пожалуй, даже не звучит преувеличением самооценка Песоцкого, когда он свои пасеки называет «чудом нашего столетия», а про сад говорит: «Это не сад, а целое учреждение, имеющее высокую государственную важность, потому что это, так сказать, ступень в новую эру русского хозяйства и русской промышленности».

Разве можно это сравнить с большим воображением Коврина, которое нашептывает ему: «Без вас, служителей высшему началу, живущих сознательно и свободно, человечество было бы ничтожно, развиваясь естественным порядком, оно долго бы еще ждало конца своей земной истории. Вы же на несколько тысяч лет раньше введете его в царство вечной правды — и в этом ваша высокая заслуга».

Реальность результатов дела Песоцкого, казалось бы, без сомнения противостоит призрачности ковринских занятий. Однако сомнение будет здесь более чем уместно. Ведь о деятельности Коврина мы узнаем только по его собственным словам, если не считать ничего не понимающих в его работе Песоцкого и Тани, восхищающихся Ковриным из любви к нему. Качество и масштаб его дела для нас остается неясным. Он рвет рукописи, оправившись, как ему кажется, от болезни. Но доверять самооценке Коврина здесь трудно. Мы так и не узнаем, кто он такой: действительно несостоявшийся гений, на время расстроивший свои нервы и впавший в кризис, из которого он, возможно, вышел бы окрепшим и утвердившимся в смысле своего дела, если бы не физическая болезнь и смерть, один из тех, кто лет через тридцать поплыл на «философском» пароходе в изгнание, а в наши дни признан гордостью России. Или же он посредственность, страдающая типичной манией величия. Единственное, в чем точно не откажешь Коврину, так это в силе переживаний, достойной если не гения, то во всяком случае большого таланта.

В любом случае, у нас нет никаких оснований считать, что автор в своем рассказе отдает предпочтение кому-то из двух героев, а в лице их какой-либо идее, образу мыслей и жизни.

Другое дело, что и тому и другому явно чего-то недостает, и это, при всем при том, что они хорошие люди и замечательные по-своему деятели, автора, на мой взгляд, занимает более всего.

Обратим внимание на то, что мучит героев рассказа.

Песоцкий страдает от мысли, что его сад останется без хозяина и погибнет. Этот сад вобрал всю его жизнь, и сохранение его означало бы, в определенном роде, ее продление.

Для Коврина такой же «сад» — это его знания, его статьи, книги, лекции. В нем живет сомнение в их важности, нужности людям и в то же время надежда на их высокое значение, которое будет понято и принято потомками. Именно для того, чтобы доказать справедливость этой надежды, большое воображение Коврина обращается за помощью к призраку.

Другими словами, и Песоцкого и Коврина остро волнует проблема смерти и бессмертия...

Общеизвестно высказывание Чехова о том, что художник обязан только правильно ставить вопросы. И общепонятно, что правильная постановка вопроса предполагает движение мысли читателя к правильному ответу. Другое дело, что ответ вряд ли может быть однозначным. «Никто не знает всей истины», — говорил Чехов. Он никогда не отрицал важности частичного ее постижения, но остро чувствовал, когда частичное выдается за общее или на место вечной истины ставится выдуманный человеческим разумом, ограниченный его земным бытием образ.

И в рассказе «Черный монах» Чехов даже не намекает прямо на возможный выход из тупика, в котором оказались герои. Хотя проблема ставится так, что ее можно разрешить только в религиозном аспекте.

Формально жизнь и Песоцких и Коврина подчинена христианской традиции. Идут своей чередой посты и праздники, проводятся службы. Таня в минуту радости чувствует, что «ей хочется улететь под облака и там молиться Богу», Коврину его призрак является в христианском облике и речь его, то есть внутренняя речь самого Коврина, полна выражений из Священного Писания. Однако все это либо просто фон жизни, либо чисто внешнее выражение личных переживаний героев.

Чехов, выросший в строго, даже можно сказать, сурово религиозной семье, хорошо знал цену такому бытовому христианству, да и вообще с прохладой относился к внешнему выражению религиозности, если не видел за ним искреннего движения души.

Не случайно, вероятно, рядом с «Черным монахом» стоят написанные в то же время рассказы «Бабье царство» и «Студент». В первом мы видим тяжелую, вязкую гущу религиозного быта, только быта, во втором — вечный свет Евангелия, пронзающий души людей. Этот контекст еще более усиливает впечатление религиозного томления и религиозной слепоты в рассказе «Черный монах».

Коврин страстно любит жизнь. Его телесное и душевное ликование несколько экзальтировано, но вполне симпатично. «Мне хорошо» — это его основное ощущение, в котором он смущенно, хотя и с некоторой наигранностью, признается черному монаху, то есть самому себе, и получает, естественно, полное оправдание. Однако удовольствие от жизни не может полностью удовлетворить человека. Смысл этой жизни ускользает от понимания Коврина. У него есть общие представления, почерпнутые из книг и освоенные сознанием, но душа пуста и жаждет наполнения вечной истиной. Эта неутоленная жажда вызывает душевную болезнь. Призрак, ласково и лукаво улыбающийся черный монах, посещает его, и Коврин с готовностью поддается искушению. Теперь не надо ничего искать. И в высших сферах духа Коврин, как ему кажется, нашел удовольствие такое же, как и в быту, и в своей научной работе, и он потирает руками, словно скряга, нашедший на дороге кошелек с деньгами.

Лишенный в результате лечения этого удовольствия, Коврин теряет вкус к жизни. Если раньше он жил по принципу: «мне хорошо, и я не делаю зла другим», то теперь тот же принцип поворачивается обратной стороной: Коврину плохо, и он не в силах удержаться от зла в отношении своих близких. В лучшем случае ему остается унылая покорность бесцветному существованию, покорность, готовая взорваться новым приступом душевной болезни. Не помогают и размышления о «суете мирской», поскольку они не дают ему утешения и не обращают к поискам истины. Ему «приятно было бы не помнить» обо всем тяжелом, что произошло с ним и его близкими, а это как раз тот путь, который отрезает возможность найти смысл жизни. И даже сквозь смиренное по внешности признание: «Коврин теперь ясно сознавал, что он — посредственность, и охотно мирился с этим, так как, по его мнению, каждый человек должен быть доволен тем, что он есть», — проступает низменная гордыня.

Реальная жизнь, оторванная от духовного источника, наказывает за попытку забыть ее. Письмо убитой горем Тани можно разорвать, но клочки его не желают улетать, и легкий ветер с моря рассыпает их по подоконнику перед Ковриным.

Ложное спасение является снова в образе черного монаха, который возвращает Коврину веру в его высшее назначение, а вместе с ней и блаженство, с которым он умирает.

Радость жизни и ее мучение, ее крест для Коврина разделены пропастью, и эта пропасть в конце концов поглощает всю его душу. Там обитает лукавый призрак, победа которого — результат отказа Коврина от подлинно духовных поисков.

Исследователи много пишут о неслучайных случайностях в мире Чехова. «Под Ильин день вечером в доме служили всенощную. Когда дьячок подал священнику кадило, то в старом громадном зале запахло точно кладбищем, и Коврину стало скучно».

Судя по собственным высказываниям Чехова, пожалуй, он мог вполне написать это о самом себе. Но подобное переживание не могло остаться в нем самодовлеющим и вызывало цепь других переживаний и размышлений, одно из которых запечатлено в письме В.С. Миролубову от 17 декабря 1901 года: «Нужно веровать в Бога, а если веры нет, то не занимать ее места шумихой, а искать, искать, искать одиноко, один на один со своею совестью...»

ЦГТБ имени А.П. Чехова